

The background of the cover is a dark, atmospheric illustration of a forest. A large, gnarled tree with thick, twisted branches and dense green foliage is the central focus. A bright, glowing white flower with a pink center is positioned at the base of the tree. The overall color palette is dominated by deep blues, greens, and browns, with a soft glow emanating from the flower and the title text.

Рина Солнцева

КРОВЬ ЛЕШЕГО

У леса
свои законы

Славянская мистика

Рина Солнцева
Кровь Лешего

«Издательство АСТ»

2026

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6

Солнцева Р.

Кровь Лешего / Р. Солнцева — «Издательство АСТ»,
2026 — (Славянская мистика)

ISBN 978-5-17-188648-6

История начинается с куклы, которую младший брат Фёдора приносит от соседа-колдуна, и в доме одна за другой начинают происходить беды. Фёдор отправляется в лес, чтобы разобраться в случившемся, но колдун заманивает его в ловушку Лешего. Единственная его надежда – Ульяна, дочь того самого соседа. Но сможет ли она помочь, если её собственная жизнь связана с лесом и колдовством? Теперь Фёдору предстоит решить: покориться судьбе или найти способ разорвать этот круг, пока юноша не потерял всё, что ему дорого.

УДК 821.161.1-312.9

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-188648-6

© Солнцева Р., 2026

© Издательство АСТ, 2026

Содержание

Кукла	7
Выворотень	14
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Рина Солнцева

Кровь Лешего



Славянская Мистика

Серия «Славянская мистика»



Разработка серийного оформления *Екатерины Дубровской*
Иллюстрация на обложке *Юлии Мироновой*



© Рина Солнцева, текст, 2026

© Юлия Миронова, илл. на обл., 2026

© ООО «Издательство АСТ», оформление, 2026

Кукла

Мать злобно кричала на Прошу. Голос её, обычно красивый, певучий, звучал надрывно. Она старалась ругаться будто украдкой, упругим шепотком, но даже из-за ворот, слезая с коня, Фёдор слышал в нём сдавленное отчаяние.

– Я говорила тебе ничего не брать. Просила тебя, умоляла. Не подходи к Ульяне, к соседу Ефиму не подходи. Плохие они люди!

В ответ слышались лишь тихие всхлипы и шмыганье носом.

Мать, Домна Егоровна, слыла хозяйкой сильной хватки, веского слова. Но она не всегда такой была – к этому привела горькая судьба, овдовела Домна рано, осталась с сыновьями. И взвалила на себя и дело мужа почившего, и заботу о пострелятах. От такого и голубица белая остроокой соколицей станет. Слыхал Фёдор, шептались в селе, что при муже была Домна нежна, домовита, куховарила да вышивала. А как муж преставился, так пришлось ей мужицкую долю на себя примерить да с ней срастись. Пока старшой сынок не возмужал, снял хоть сколько-то обузы с материных плеч.

Но к сыновьям вдовица всегда относилась с нежностью, глядела ласково, редко говорила что недоброе, если только уж совсем кто-то из них, особенно младший, разнуздывался. Да вот только Фёдору особо уже и не скажешь ничего, да и нечего – заменял он старшого в семье. Всё на нём, и земля, и дело семейное: хлеб растить, собирать, молотить. Нравом он всегда смирен, да очень скрытен и замкнут, будто на замок кто его запер.

Батюшка покойный был человек железный, наймиты его слушались: за делом следил в оба, у такого не забалуешь. А вот лишнего словца тоже не вытянешь, разве что глянет очами серо-грозовыми, так и сам умолкнешь. Только пойдёшь смиренно выполнять то, что велено. Вот жену свою Домнушку любил пуще самой жизни. Лишь она могла смягчить норов его, стоило ей только головой покачать да посмотреть печально – так и угасал весь пыл, мерк.

А вот младший сынок, Прохор, тот озорной, ветер в голове свищет. Насколько разные уродились сыновья! В одно ухо Прошки ветер влетал, в другое вылетал, ни одного следочка не оставлял. Уж такой он, Проша, сколь ни бейся. Мать и плакала, и бранилась, и наказывала – да только всё одно. Коль что втемяшилось мальцу, так не выколотишь.

Вот и сейчас Фёдор поспешил открыть ворота, быстрым шагом пересёк двор. Надо братца выручать. Не впервой это, справимся как-нибудь.

Впереди мелькнул вышитый платок, хлопнула дверь. И то верно, нечего наймитам слушать. Потом вся Степановка будет судачить, сколь неслушен малец Прошка, как не справляется с ним Домна. Что и замуж могла бы выйти второй раз – без отца вырастет Прошка бес-толочью. Заметил Фёдор, как любопытные очи зыркнули со стороны огорода, где трудилась на грядках малолетняя девка, что нанялась в помощь. Должна капусту обихаживать, а сама уши греет. Вот точно завтра всё село знать будет, что отругала Домна Егоровна сынка своего младшего, вот уж кто досада да заноза. Отвела б уже к бабке какой, отчитала бы та, ибо совсем от рук отбился пострел. Небось бес в нём мелкий сидит, мальца на шалости да грех подбивает. У всех вон мальцы как мальцы, могут и пакость какую от глупости сделать, и удрать куда не надо, и стащить чего. А Проша Домнин давно уже стал притчей во языцех.

Ух, чего только не слышал Фёдор, каких только шепотков да сплетен о семействе их не заводили, да всё почти о Проше. Да ведь неплохой он, добрый. Только глупый. О самой Домне судачили реже – побаивались её, уважали. Знали, что коль другая какая баба вот так бы одна осталась, так сразу бы замуж выскочила, хоть за кого. Тяжко одной, страшно. А Домна не спужалась, выстояла. Да и характер как закалила!

А сейчас мать сидела на скамье, перед ней на старом дырявом платке лежала кукла. Соломенная, глазки – две угольные точки. Перепоясана алой ниточкой витой. Видал много раз такие

куклы Фёдор: девочки малые играли с ними, наряжали да личики углём раскрашивали. Ягоды рябины на нитки нанизывали, делали куклам своим бусы. Да каждая баба умеет подобную куклу сшить. Обычная кукла, чего голосить-то?

Из угла глядел зарёванный Проша глазами тоскливыми, так и молил – «выручай!». Одно ухо алее другого. Оттаскала мать, что бывало с ней нечасто. Значит, уже совсем довёл сын до белого каления. Домна была не из тех матерей, что чуть что отвешивали подзатыльники или брались за розгу, оттого Фёдор ещё сильнее удивился.

При виде него мать всплеснула руками, ткнула пальцем в куклу:

– Ульяна дала. Сколько раз говорила ему, не ходи ты к ней, чего прилип? А он заладил: «Добрая она, хорошая, пряники всегда даёт». Нельзя к Ульяне ходить! Увидал её – так беги! Что тебе, пряников не приносит никто? Прямо изголодался весь, бедный!

Проша всхлипнул, затёр кулачком глаз:

– Она всегда останавливается... Говорит ласково... Красивая она... Почему нельзя-то?

Топнул ногой, выбежал в спальню. Только занавеска дёрнулась, мякнула половица.

Домна вздохнула, прикрыла глаза. Могла перед сыном и слабость показать, и пожаловаться. Это перед другими она голову высоко держала, очами ледяными поводила. И только сыновья знали, что теплы её очи да добры.

– Ну хоть ты поговори с ним, ну опасно это. Дурная девка эта, Ульяна. Хорошую себе подружку нашёл! Неспроста она Прошку привечает, попомни моё слово!

Встала резко, подхватила куклу, в тряпицу обернула, пальцами не касаясь, будто мерзость какую держала в руках. Вышла. Слышно было, как брякнула печная заслонка. Бросила мать куклу в печь, не пожалела подарка.

Фёдор уже видывал, что, как шла Ульяна, соседа Ефима Григорича дочь, по улице, так Проша сразу от ватаги ребят отделялся, бежал к ней. Она останавливалась, могла даже по голове того погладить, дать чего вкусного или игрушку какую. Всё интересно было Фёдору – Ульяна уже девка на выданье да ещё неприступная такая, а с малым возится всегда, казалось, и рада ему. Хотя странная она, Ульяна та.

Много сплетен по селу ходило и про отца её, и про саму Ульяну, но Фёдор им не верил. Народу только дай волю, так раздуют небылицу. Взять хоть про их семью даже, что уже только не говорили... И что мать его слишком горделива, а значит, поколдовывает (вот глупости какие! Набожна Домна, за мужа покойного молится ежевечерне). Что Фёдор нелюдим да несговорчив – подменыш небось, родила, видимо, Домна другого сына. Доброго да светлого, а вот недоглядела – умыкнула нечисть родного, подменыша ей оставила. А с чего это Феде сговорчивым быть, коль каждый, хоть купи, хоть продай, надурить хочет? Умел Фёдор слово железно держать, не уломать его, хоть лести, хоть угрожай. На кривой козе не подъедешь к нему. И Прошу вон тоже в нечисть записали, только нежный он да отзывчивый. Глядишь, не такая уж и плохая та Ульяна, раз Прошка-блошка к ней тянется.

И всё бы людям выдумывать да болтать, языки же без костей, что помело. Помнится, пропал как-то мальчонка в соседнем селе. В нехорошее время пропал – в Русальную неделю. И искать его не стал никто из сельских, хоть мать по избам ходила, чуть ли не в ногах валялась у мужиков – сына бы найти, уж помогите! А как все отказались да ещё единодушно, сама мать несчастная лес обходила. А сын как в воду канул. И люд рассказывает, что опасно это – искать пропавшего в Русальную неделю. Коль девка пропадёт – утянут её русалки с собой, сестрицей станет утопленницам. А коль парень – так защекочат до смерти. Оттого и не рискнул никто в лес идти, лишь мать искала. Как та неделя миновала – так пришёл малец к себе домой, услышала мать топот босых ножек у ворот ввечеру. Обрадовалась, на руки сына взяла, в дом занесла. Товаркам всем рассказала о вести доброй, жаловалась только, что не ест сынок, исхудал сильно, кожа да кости. Уже говорили ей – отведи в лес дитя обратно. Не твой то сынок, глупая. Нежить это, погиб твой сын. Но не верила та, озлобилась на селян, ни с кем больше не

говорила. Да и сама сохнуть стала: волосы повылезали, посинела ликом, взор помертвел. Была больше не резвая это баба, а старуха седая, еле ноги волокла. Слегла она, и боялись ей даже еду приносить на порог. До того, кто подходил послушать, не преставилась ли, доносился лишь топот ножек да смех детский. А потом смельчак один забрался-таки в дом, а поздно стало – померла баба. И похоронили её на перекрестье дорог. Чтоб не шаталась потом к селянам, что не помогли, не кляла их. А дитя так и вовсе не нашли. Только следы по всему дому от грязных детских ступней, зеленоватые, то ли с тиной засохшей, то ли с водорослями. И всё не высыхали они, будто изнутри влагой сочились.

Но казалось то Фёдору сказом, чтоб детей пугать. Дабы не лезли в трясины, одни далеко в лес не уходили. А что до того, как на самом деле было, небось принёс малой с собой какую хворь лесную или болотную, огневицу-трясовицу. Вот и слегла мать. Да сам от той болезни и помер, в лес в бреду ушёл.

Не верил Фёдор в чертей да русалок. В труд верил, людей хороших. А не в нечисть лесную, кладбищенскую, полевую. Мог, конечно, иногда байки со сказами послушать, чего бы и нет. Но больше то было не чтоб напугаться аль сплетню какую услышать. А чтоб понять, чем люд живёт, во что верит, кроме Христа да Богородицы.

Но вот мать в те рассказы верила. Сызмальства и Фёдору, и Проше накрепко зарубила на носу – ни шагу в лес на Русальной неделе. В день Афиногенов не собирать ягоды да грибы, веток не ломать, валежник не тревожить. А на Воздвижение даже по людной улице ходить надо с опаской – змеи лютуют, коль ужалит тебя гадина в тот день, так сам змеицей обернёшься. Или духом неприкаянным лесным в чащобе останешься навечно. Не будет покоя душе, а всё из-за глупости. Чти дни, что предки наши отметили мудростью своей. Сказали нам, чего опасаться, где не бывать, чего не творить. Всё это веками проверено, слезами отмеряно. Не по доброй воле через горести пращуры проходили, опыт набирали, да по доброй воле предостерегли.

Верила она и в нечистого. Говорила по ночам на небо не глазеть – ведьму, на шабаш летящую, случайно увидишь, так будет она мстить тебе, дознается путями своими дьявольскими, кто узрел полёт её. Сна лишит, зрения, а то и жизни. Звёзды не считай – коль летавицу, звезду-падалицу, заметишь, так станет она ходить к тебе девой волоокой. Силу твою отнимать, сердце мучать. Когда малой был Фёдор, так любил сказы про бравых молодцев, но и страшных не чурался. Слушал вечерами, представлял себе ведьму на помеле, злую, старую, с ликом перекошенным. Да летавицу-девицу, в сапожках алых сафьяновых, с волосами долгими золотыми... Как спускается с неба дева та, подходит к двери запертой, стучит звонко: «Тук-тук! Кто тут не спит, на небо глазеет? Подь сюды, разговор имеется!». Так и засыпал Фёдор под материны сказы, но были для него кикиморы и ведьмы столь же сказочны, выдуманы, что и Бычок – смоляной бочок да Бова-королевич.

Нашёл Фёдор братца в горнице на лавке. Золотил закатный свет волосики братцевы пшеничные, ресницы пушистые. Сидел тот, насупившись, коленки острые к личику самому подтянул, смотрел волчонком. Вроде и заслужил братец взбучку, а всё равно старшему больно было на слёзки его смотреть, кольнуло сердце. Родных-то у него осталось – мать да братец, только радостными видеть их хотелось, только счастье чтоб на пути их встречалось.

– Чего мать опечалил? Сказала она тебе, не ходи к Ульяне. Пошто приклеился к ней, как банный лист? Чай не подружка, она вон уж девица-невеста.

Проша шмыгнул носом, вытер рукавом нос. Закраснел нос пуще прежнего, будто ягода-малина стал. Не смог Фёдор улыбки сдержать. Вроде и сердиться надо на братца, чтоб понял ошибку свою, чтоб обходил товарку, такую ему неподходящую, десятой дорогой. Но как на него ругаться, как ногами топтать? Чудной он, да и не понимает ругани.

– Ульяна хорошая! Мама не знает её, вот и наговаривает. Она мне рада всегда. Игрушку даст или угощение. И сказы говорит, всё про тайны лесные, про птиц-гамаюнов и русалок речных. Матушка таких не рассказывает. Она всё про Марью Моревну да про сына Ивана крестьян-

ского. А я про чуды-юды хочу! – Подпрыгнул, впился очами своими синими. – Да и сама Ульяна подходит ко мне. А как не подходит – так манит пальцем. Ну и иду я. А чего мне не идти? Она больше никого не привечает. Оттого ещё дороже мне её дружба.

Фёдор вздохнул, погладил мальчика по волосам. Понятно всё тут – сколь ни говори, опять пойдёт к Ульяне, коль поманит та. Был бы умнее – так хитрил бы, врал матери. А этот всё выдаёт, как на духу. Да и сельские ведь расскажут, мол, с дочкой чернокнижника сынок твой, Домна, знает. Аль заколдовала девка его? Аль сама ты с нечистью знаешься, раз малец твой с Ульяной ласы точит, подарки принимает. А таких разговоров не любит мать, опасается. Уж если кого окрестят чародеем или ведьмой, так потом ту тёмную славу ещё попробуй искорени.

– Видишь, волнуется матушка за тебя. Не нравится ей сосед наш. Так и не подходи к дочери его. Матушку жалеть надо. Видишь, сколько пало на неё...

Язык уже прикусил, как понял, что лишнего сказал. Пуще прежнего закапали слёзки, ещё сильнее загоревал Проша. Уж больно тосковал по отцу. Да и мать тосковала. Слышал Фёдор, как плакала она ночами иногда, вскакивала и бежала в угол к иконам. Молилась там, всхлипывала до самого рассвета. И Фёдор тоже подчас хотел бы помолиться, только застревали в зубах слова святых молитв, не приносили ему утешения, не тянуло его к покаянию. Оттого даже завидовал слегка матушке – было у неё кому поплакать, с кем поговорить о потаённом да выстраданном.

Притянул младшего к себе Фёдор, уткнулся тот ему в рубаху, засопел и завсхлипывал. Погладил Прошу брат по голове, прижался малец, обнял.

Посидели братья, помолчали. Проша успокоился, посветлел взором.

– А вот мне нельзя с Ульяной говорить даже, а отец её к матушке приходит по вечерам. Вот уже с неделю. Квасу она ему наливает, говорят они долго о чём-то. Значит, не злой он. Раз привечает она его, не прогоняет.

Вздохнул Фёдор тяжело, посмотрел на братца укоризненно.

– Не всех прогнать можно, Проша. Да и что о нас люди скажут? Что Домна Егоровна соседей не уважает, на порог не пускает, гостям не рада... – попытался объяснить Фёдор братцу ту странность, но и сам подумал: «И правда, а какие это дела могут быть у Ефима в нашем доме? Зачем приходит?»

Проша кивнул, а всё равно видел Фёдор упрямый огонёк в глазах. Схлопочет ещё Проша себе по ушам, да не раз. Было то Фёдору странно – откуда упрямый такой. Фёдор – тот всегда был спокойный, покладистый. Пусть и себе на уме. Если хотел что по-своему сделать, так делал, но мать не злил, отца не расстраивал. Всегда помнил, что и без его злонравства было от чего у матушки сердцу болеть, а у батюшки – голове. А тут всё поперёк да против – ишь, характер какой!

И вот уснули все в доме, огонёк лампы в углу окрасил стены в оттенки зари, а Фёдор всё лежал да думал – отчего это Ефим зачастил? И сам отмечал парень, что приходил гостем незванным, разговоры с матерью вёл, да всё будто ни о чём.

А как появится Фёдор на пороге, так сразу подсказывает с лавки Ефим, будто вот-вот уходит собирался. А коль не пришёл бы Фёдор в ту минуту, так и сидел бы долго ещё? Ставила мать яства на стол, опрашивала гостя вежливо, обихаживала, как и любого другого, кто захаживал. Будь то товарка ейная, соседка аль по делам кто зашёл. Но чуял он, в воздухе самом чуял, как звенело что-то похожее на страх. Долго ещё он ощущался в сених, горнице, даже после ухода соседа. Пусть и улыбался он, и гостинцы приносил.

Каждый раз, увидев сына, что являлся внезапно во время приходов Ефима, улыбалась Домна и сыну, и пришельцу. Но подмечал Фёдор, что тревожна она, тёмно лицо её.

* * *

Ефима в селе уважали. И боялись. Уважали потому, что был старосты брат. А то власть, пусть и жил староста далече, к родичу навевывался нечасто. Ох приездов тех боялись – у каждого в селе были делишки, коим староста был бы не рад, за что мог взыскать. Да и докладов Ефима боялись. Доверял ему братец, а у Ефима в селе были свои всевидящие очи. Оттого и знал староста подноготную всего села.

А ещё боялись Ефима потому, что был старосты брат колдуном.

И не скрывал он того, будто всем видом своим показывал – се суть моя, путь мой. Глаза у него что угли: черны, холодны, но вот только огонёк в них мерцает. И нельзя глядеть на тот огонёк – будто сила из тебя сразу уходит начинается, кровь тело покидает. Власы длинные носил, за уши заправлял. Кожа белая, как у покойника. Кто-то говорил, что чужд он свету солнечному, потому что божий тот свет, чистый. А кожа Ефима столь нечиста, что не целуют её лучи. Потому и выглядит, будто помер дня три назад. Видели его много раз порой ночью на местном погосте, и в лесу встречали, но знал люд, что лучше всего закрыть рот и очи и бежать прочь, молиться, чтоб не приметил тебя колдун, взором огненным не опалил. А кто говорил о том, что видел, слышал, чувствовал, с тем потом несчастье случалось – корова падёт, крышу проломит от лёгкого ветерка, куры заболеют. А то и с самим что похуже станет.

Случай был: ходила девка козу искать, что с колышка оторвалась, заблукала. Знала девка – выпорот отец, коль коза пропадёт, оттого обошла лесную опушку, овраги излазила, но не было нигде козы разнесчастной, будто сквозь землю провалилась. Уже думала она, задрал кто её в чащобе, самой страшно стало – оно лучше отцом выпоротой быть, чем зверем диким утащенной. Коль сгинешь в лесу, так это и упырихой стать можно, или лесным духом, что сбивает путников с пути, над болотцами лесными огоньками жёлтыми плывёт, светит. Приснула девка из леса на дорогу, очень не хотелось нежитью стать. Да к погосту и вышла. Свечерело давненько, солнце закатилось, затопила предночная синева православные кресты, ограду невысокую. И вдруг – глядь! – забелело что-то впереди. Девка было ринулась прочь, а пригляделась. Ба, так вот она, коза-то! Небось ушла крапиву кладбищенскую жевать – хороша там крапива, высока да сочна, на косточках людских выросла. Перекрестилась несчастная, пошла между могилок вперёд, к козе окаянной. Было схватила ту за обрывок верёвки, но как зашевелилось что-то тёмное чуть ли не под ногами. Высветил лукавый лунный луч лицо узкое, бледное – Ефим то Григорич на могиле сидит, слова шепчет! Мешочек в руках, перебирает он что-то белое, наверное, костки чьи-то... Как дёрнула девка козу за верёвку, как побежала с ней, дороги не разбирая... Так только дома и выдохнула. И ей, бедовой, молчать бы о том, что страсти повидала, кого на погосте встретила. Но растрепала об увиденном матери, а мать утречком у колодца новость растрезвонила по товаркам. А те уже додумывать начали: у одной Ефим мертвяка ел, у другой – упокойника выкапывал, а был тем упокойником загулявший муж соседки Макаровны, вот те крест. А у третьей – песни похабные у креста распевал. К вечеру и не знал люд, кому верить, был ли Ефим на погосте вообще, что делал. А как луна над лесом взошла, так вспыхнула изба девки той да семейства её, будто кто лучину поднёс к стогу сена. Еле выбежали они, чудом спаслись. С тех пор мало кто отваживался про Ефима сплетни распускать. Про Ульяну разве что девицы завистливые могли чего между собой посудачить, да только тут же языки и прикусывали. Вроде и есть завидовать чему – отец наряжает да работой не донимает, подарки возит, глядит ласково. Но кого спроси, готова ли судьбиной с дочкой колдуна поменяться, так, поди, перекрестятся да чура поминать начнут со страху. И счастливой Ульяна не выглядела – столь же бледна, как и отец, молчалива. Коль у Ефима взор – угли да полымя, так у Ульяны – полынья январская, в коей любой огонь потухнет.

Ефим с сельскими не водился, будто и не было их. И даже для виду в церковь не ходил, хоть даже местные ведьмы во храм хаживали. Были дни, когда ведьмам это можно, пусть и диаволы прислужницы, да пускает их нечистый туда. И те были, кто ходил гадости бесовские творить в самом доме Божиим. Кто болячки на молящихся перекидывал, кто свечи, поставленные у образов, переворачивал. А вот Ефим... Никто и не помнил, когда бывал он там. Небось, когда с женой своей венчался. И как только храм божий не полыхнул от святотатства такого, как только батюшка потом не закрыл его, как осквернённый?

Сами сельские к нему редко за помощью ходили, чаще бегали по бабкам да знахаркам. Деньги он брал большие за работу, но кто обращался, те знали, что будет всё исполнено, как требовалось. И приезжали к нему люди богатые, на конях сильных, норовистых, в санях, искусной резьбой украшенных. Как только видели сельские, что остановились красивые сани у Ефимовых ворот – сразу глаза отводили, а то бежали подальше. Никого не видел, не ведал ничего.

Сказывали про Ефима разное. И что чертей в избе привечает, и что Змей Огненный к нему заглядывает на попойки, и что вместо жены у него летавица. Что к водяному на поклон ходит, гостинцы ему носит, а тот помогает ему в делах гадких да нечистых. Что летает на шабаши колдовские (но такое свойство кому только в селе не приписывали, ведь знамо: холодный да замкнутый человек – так точно колдун!). Видела девка одна, что от любовника огородами кралась до дому, как летел Ефим, волосами закрывшись, в холстину обмотавшись, над домами. Низенько, каждый волосок видать. Глаза прикрыты, а тут как взглянул взором сверкающим, диаволовым! Так ноги у девки той отнялись-подкосились. Долго-долго девка сидела под смородиновым соседским кустом, пошевелиться не смела. А как домой добрела, слегла, в бреду металась, не пила, не ела. И, в жару утонув, хохотала бесновато и причитала: «Летит-горит, горит-летит...» Вздрагивали соседи, кто мимо окон её проходил, покрик визгливый услышав. А как отболела девка, так поникла вся, посерела. Редко появлялась на улице, скособоченная, вечно хлебную корку во рту мусолила. А как рот свободен – всё приговаривала: «Летит-горит, горит-летит...» шёпотом хриплым. Сестёр её никто замуж брать не стал – кому нужны родичи убогой.

И долго ещё девки да бабы на небо смотреть хоть ночью, хоть средь бела дня боялись. Пусть даже не Ефим полетит, а кто послабее да не страшный такой, а всё равно мало ли, какую передрагу учинит, как за знание отомстят. И было то сельским уроком очередным – молчи, не мели языком. Что видел – то тайна великая.

Растил Ефим дочь Ульяну один. Мать её пропала, когда той ещё и года не было. Сказывали, ушла в лес по грибы. Да и не вернулась. Ходили потом парни и мужики на поиски, кричали-искали да не доискались. Сгинула Глафира, будто и не было. А та хорошей ведь была да нраву доброго, ой как пригожа и светла. Говаривали, родичи сторговались, больно хотелось к семейству старосты подмазаться. А вот дало ли это счастья девке?

Злые бабы втихаря говаривали, куда уж тут, даже под великим страхом рот на замке держать – неспроста Глафира пропала. Кто-то считал, что сама она сбежала от колдуна, моченьки не было жить с диаволовым прислужником, на пакости его смотреть. А кто-то полагал, что сам Ефим Глафиру и угробил, отдал силам тёмным на растерзание, в жертву принёс. Оставил дитя без матери. А даже и коль сама сбежала, оставила дитё – так никто её и не осуждал, понимали все, что не отдал бы Ефим дочь, тут бы себя спасти.

Не давал дочке Ефим с сельскими детьми в догонялки играть и в городки, будто внушал с детства, что не такая она, как все эти. Не якшайся, не заводи подруг, не таскайся хороводы водить по праздникам, глаза продавать по ярмаркам. Дома сиди, не растрачивай себя попусту.

Без женской руки, ласки материнской выросла Ульяна статной, ладной, но хладной, как прорубь. И ядовитой была её краса. Вроде и коса в руку толщиной, мягкая, вьётся, а отблеск у волосев тёмных стальной. Вроде и очи синие, глубокие, а ледяны и печальны. Никого из

парней взором ласковым не одаривала, смотрела пристально, пронзительно. Будто что хотела сквозь толщу воды увидеть.

Никто к ней и не сватался. Был один проезжий купеческий сынок, крутился всё у ворот, крутился, поджидал Ульяну. Сказывали, увидел случайно на улице, как шла та, ступала будто пава – в бусах стеклянных, понёве алой, в косу толстую, каждая волосинка переливается, лента лазоревая вплетена. Как шёл парень – так и застыл столбом, что Лотова жена. А очнулся, сразу вызнать стал, что за девка такая пригожая, чья будет.

День пришёл постоять под ворота, поглазеть, потом и другой. Слухам не верил, блажной какой-то. Сказывали ему местные – уходи, не губи душу свою бессмертную, не для тебя краса ледяная расцвела. Выходила Ульяна к нему, взором ледяным окидывала, уходила молча. Уж говорили вокруг, приворожила, что ль, эта точно могла бы. А как один разок на двор пустила, так бежал потом парень, пятки сверкали. И кричал во след ему Ефим: «Чтоб не видел тебя тут! Другому она обещана уже!»

И знали все, кому обещана.

Выворотень

На следующий день возвращался Фёдор поздно, ввечеру. Солнце давно нырнуло за деревья, алели верхушки сосен. Село Степановка стояло к лесу плотно, окружал он его будто подковой. И был он тёмный, летом отдающий железистой зеленью, по осени – рыхлой ржавчиной. Оттого и темнело тут рано, а рассветало сильно позже, чем везде.

Небо уже стало сине-серым, вдалеке, у пышного ельника, виднелись луковки церкви. Блеснул крест последним алым всполохом, отразил поздний луч, невесть как пробравшийся сквозь толщу ветвей. Ветер тревожно подвывал в них, будто прогоняя припозднившийся люд с улицы. Баба тянула за руку дочку в грязном сарафане, дитё упиралось, но с опаской поглядывало на трепет листьев, уже потемневших в сумраке. Небось наговорили дитю страстей, напугали бедную. Будут теперь ей видеться во тьме избы кикиморы кудровласые, каждый скрип половицы – то постень, бес, что в щёлку пробирается к спящим, идёт на грудь сесть. И спросить его надобно, к чему пришёл – к добру али к худу. Коль ответит, что к худу, так жди беды.

Проплыла мимо Аграфена, девка настырная, хоть и пригожая. Вроде всё при ней – и округлая, и румяная (только подчас казалось Фёдору, что румянцу Аграфена была обязана свёкле, а чернобровости – угольку). Как ни увидишь, так обжигает взглядом, плечами томно поводит. Вот и сейчас Аграфена, хоть и спешила, волосики русые аж ко лбу прилипли, платочек сбился (и чего только в такую позднюю пору забыла на улице?), а взглянула масляно, мазнула вскользь. Улыбнулась игриво, шмыгнула за ворота и захихикала звонко. Блажная какая-то девка.

Знал Фёдор, что много кому Аграфена нравилась. Редко когда он к парням выходил погугарить, да и гугарили всё об одном – о девках и работе. А ему всё не до девок было, тут бы матери помочь, за старшего в семье быть. А про работу и вовсе говорить не хотелось. Но коль и выходил к парням, так часто имя Аграфены мелькало, всё думал – кто ж первый к ней посва-тается?

Хоть и не владела Аграфена его сердцем, да всё же задумался Фёдор, перед собой, между ушами коня, загляделся. Сам не знамо о чём мыслил. А тут как встрепенулся, будто галка на заборе, глядь – впереди братец Проша стоит у соседских ворот, разговоры ведёт. Да не с Ульяной, с самим Ефимом! То-то мать яриться будет, если узнает! Присмотрелся – в руках у брата леденец-петушок, привозил с ярмарки такие же, ну что ж ему мало всё? Тут уже и от самого Фёдора взбучку получит! Как ни старался Фёдор мальчика и так и эдак выгораживать, думал, что поумнеет ещё, что слушаться начнёт... Теперь уж точно, чего не случилось, сам накажет. Лучше он, чем мать. Лучше пусть сам он, Фёдор, потом расстроится, чем её слёзы снова видеть.

Видит парень: Ефим склонился над мальцом, рубаха тёмная, перстни на пальцах сверкают. Глядит на него будто даже ласково, что-то вещает Проше, а тот знай головой качает, поддакивает. Уставился Проша на соседа, что замороженный, улыбка лёгкая на устах. Сказы небось любимые свои про чуд-юд слушает? С чего это вдруг Ефим, вслед за дочкой, решил мальчика соседского развлекать?

Спешился парень, хотел было окликнуть брата, да увидел, как потянул за собой мальчика Ефим, цапнул ручищей мословатой розоватые детские пальчики. Скрипнули ворота, скрылись за ними Ефим-ворон и цыплёнок-Прошка.

Поспешил к воротам – вдруг заперто, вдруг уже не достучаться! – дверь хоть и тяжело, но открылась. Пусто на дворе, никого нет. Наймиты, поди, на ночь не остаются в этом доме. Все, как стемнеет, к себе ходят. То ли от суеверий (страшно у сельского колдуна остаться в доме, верят же, что небось потемну ворожит да нечисть привечает), то ли потому, что Ефим сам выгоняет, не терпит чужаков. На кой ему тогда Прошка?

Можно ли к соседу вот так вот, без стука, без оклика? Да, можно, коль там братец родной! От двух бед братца непутевого спасти надо: от материна гнева, тут оплеухой не отделается. И от ворона чёрного. Ох, как бы теперь так сделать, чтоб она не узнала о том, с кем вечером братец якшался, к кому в гости заходил? Пусть и не верил Фёдор сплетням, что Ефим – колдун, да явно чем-то нехорошим тот промышлял. Дом у него – полная чаша, люди к нему серьёзные приезжали, разодетые. Да только лица прикрывали и шмыгали, как мыши, чтоб не признал никто. Недоброе творит Ефим: пусть не с чёртом, да поди с кем земным и оттого более опасным знается.

Дверь открылась мягко, беззвучно, словно кто помог отворить, рукой невидимой подтолкнул. Тёмен дом Ефима, сплошь тени по углам. Снаружи ещё не столь темно, чтоб было столько теней в доме. Пахло травами, слегка сладковатой гарью, будто кто свечи медового воска жёг. В церкви так по праздникам пахнет, только в церкви тёплый дух, света много, душа радуется. А тут как у могилы стоишь в предзимье, горчит душа.

Ефим с Прошкой сидели у окна, свечка на подоконнике освещала сияющие братцевы глаза. Он смотрел на Ефима, который что-то тихонько, вполголоса, объяснял, увещевал, и пальцы его из длинной восковой свечи делали куколку. Вот и голова у неё странным узелком торчит, и ручки-ножки появились. Показывает Ефим куколку Прошке, а тот пальцем тычет, вопрос какой-то задаёт...

Прошка первым брата заметил, востепенулся. Да без опаски, будто с другом дорогим, товарищем по играм на лавке у ворот сидит, игрушки перебирает. А не у того в доме на лавке, к кому мать молила ни на версту не подходить, уши до красноты драла! Завопил братец голосом тонким, радостным:

– Глянь, Федя, какую куклу дал мне дядь Ефим! Смотри, ладная какая!

Подбежал к Фёдору, вложил в руку загогулину восковую, а та холодна, как ледышка. Не может воск таким ледяным быть, он же тёплый, податливый. Тяжёл подарочек, прям не кусок воска свечного, а пуд металла в руке держишь. Тянет он вниз, к земле. Хотел было отдать Проше подношение Ефимова обратно, да тут же пронеслась мысль: «Нельзя такое малыцу давать... Опасная это вещица». А потом и вторая пришла: «А захочешь отдать, так и не отдашь...»

Пристально посмотрел на него Ефим, усмехнулся, потёр довольно подбородок. Будто увидел что радостное да приятное.

– А ты беги, малец, мамка ждалась уже тебя.

Мягко подтолкнул Прошку, пламя свечи колыхнулось, тени зазмеились. Прошка, спохватившись, выбежал из горенки, хлопнул дверью. Как пробегал мимо старшего брата, искалось его личико, будто от страха или боли. Правильно-правильно, беги, братко, поторапливайся... Глядишь, придумаешь что по пути, скажешь, заигрался, заблукал где впотьмах. Будет мать ругаться, может, снова ухо надерёт, да то не впервой, привычный ты, и не такое бывало. Всё лучше, нежели узнает, где ты был, с кем да что делал...

Мысли неповоротливо ползли в голове Фёдора, копошились, подобно сонным рыбам на дне реки под толщей льда. Холодно-то как. Солнце хоть село, да не может летним вечером быть стыло, как в январе трескучем. А холод тот от куклы восковой идёт, по руке вверх пробирается, спину ледяным покрывалом окутывает. И не откинуть её, не выронить из руки – крепко держат пальцы супротив воли, а холод пробирает до костей, туманит разум. Вот так и замерзают в сугробах путники – сладко окутывает студёным полотном тело, обещает сон вечный, нерушимый. Вот так и отдохнёшь от мирских напастей, укроешься снежным одеялом от боли, тоски и страданий. Не будет обездоленности – чистая белая постель станет и домом твоим, и убежищем.

Угасал всё стремительнее отблеск свечи, марево из золотого стало багряным. И в том кровавом свете увидел Фёдор, как двинулся Ефим к двери, шагнул через порог. И потянуло

Фёдора за ним, поволокло. И дальше, дальше – из дома, по улице. Будто барашек на верёвке шёл Фёдор, шаг в шаг, за Ефимом, сжимая в руке восковую куколку. Как деревянное, скованное тело неповоротливо переставляло ноги, не чуя их под собой. Даже и не пробовал парень артачиться, упираться – тянуло его вперёд, во тьму, знай только двигайся, не свались.

Пошли по улице, огоньки в избах мерцали. Жгли люди лучины, вечерали, молитвы на красный угол читали. Кто-то из сельских ещё и не дошёл до избы своей. Вот ковылял по улице дед с овечкой на поводу: сбежала от отары, поди, насилу нашёл. Хорошо ещё, что волку в зубы не попала. Вот девка с парнем в обнимку у забора стоят, милуются. Кажется им, что не видно их, боярышней накрыло, ветки стали полюбовникам покрывалом. Баба мужа подпитого ведёт, ругается на чём свет стоит. Завтра в поле надо идти с утра раннего, ещё до восхода солнца. А он еле на ногах стоит, окаянный. Вот только никто из них даже глазом не повёл, как пошли Ефим с Фёдором по улице, совсем что и не было их там. Ведь коль увидели бы, так разнесли небось сплетни, то-то надолго бы хватило запала их имена трепать! Имя Ефима то небось вслух не называли, все его колдуном кликали всегда, да и ясно было, что за колдун. А вот про Фёдора чего бы только не надумали. Да только будто невидимы они были, шли себе мимо. Никто не косился, не шептался.

Вот и дошли до леса. Не бывал доселе парень в ночной чащобе, даже в детстве. Мать всегда строго следила за тем, чтобы пришёл Федя домой вовремя, чуть небо над горизонтом заалеет – бросала все дела, бежала искать сына. Уже даже смеялись с того сорванцы-товарищи по играм, а Фёдор на мать обижался – не имел он привычки проказничать, не слушаться, не надо было за ним следить так пристально. Коль сказано на закате дома быть – так и будет. Но всё мать боялась, что русалки сына утащат, что водяной на дно утянет, упырь кладбищенский поманит и под земляную перину закопает. Частенько шептала перед сном сыну страсти на ушко, чтоб знал, что мир вокруг полон недругов роду человеческому. Оттого покорно шёл мальчик на материн зов, прощался с товарищами да провожал вечернюю зарю, стоя на крыльце. Сам он считал, что пока русалку воочию не увидит, упыря не испугается, так и нет их на белом свете. Но мать уваживал, слушался.

И, как назло, уродился у Домны второй сынок Проша, который и по болотам без спросу горазд поскакать, и русалок пойдёт на Русальной неделе высматривать. Или вот, к колдуну деревенскому ввечеру гостевать ходит! Ещё и подарочек от него принял, рад был как! И не выпустишь теперь такой подарок колдовской из руки, ведёт он тебя по лесным чащобам лишь вперёд.

Опустился лес на Фёдора тёмной непроглядной периной, обволок обилием запахов предночных. Днём лес чем пахнет? Разогретой корой терпкой, разнотравьем пряным, цветами медовыми. Воздух живой, подвижный, крылья птиц шевелят его где-то высоко в кронах, оттого и поют кроны, пляшут, размахивая листьями и ветками. А вот ночью лес пахнет стыло, влажно. Горчит разнотравье, застревает в горле мшистым влажным холодком. Спят цветы – нет сладости в воздухе, дремлют птахи – не тревожат крыльями деревьев. Но шевелятся сучья и ветви, не ветром шевелимы, не птахами... Тихо, только филины ухают далеко да шелестит кто-то рядом с тропой, бредёт шагом нетвёрдым. Невидим, да слышим. Зверь лесной? Человек нехороший?

Свернули с дороги, пошли по бездорожью, папоротником заросшему. Идёт Фёдор, а сам думает: «Упаду ведь, брёвна лежат на пути, ямы да норы звериные под ногами». Но ступали ноги ровнѐхонько, не попадались под ступни ни ветви палые, ни ямы глубокие. Твердо шёл Фёдор, сам так по ночному лесу никогда бы не смог пробраться. Уже давно упал бы, кости все переломал.

Только взгляд привык было к темноте, стали в ней вырисовываться отчётливо стволы дубов вековых, елей иссиня-чёрных, мохнатых. Засерел купол неба с тусклыми далёкими звёздочками, разрезанный ветвями, и вдруг просветлело, забрезжило впереди. Но не солнечным, тёплым лучиком, радостным, безопасным. А зеленою мертвячкой, неживым светом, холодным.

Ноги вынесли на поляну, где сосны с елями стояли кругом, а посреди поляны – выворотень. Сосны, одинаковые стражи в остроконечных шлемах, несли дозор, лишь одна лежала, чернея грузным телом в синеватой низкой траве. Торчат корни неживые, на них гнилушки светятся зеленовато, мертвенно. Освещают землю под выворотнем, но не тёмная она, а алая, будто кровью пропитанная. Верят местные, что где такой выворотень лежит, там леший свадьбу справлял, нечисть там плясала-гуляла. Обходят все такие мёртвые деревья, не берут на растопку, не собирают грибы да ягоды на полянах возле.

Пусть и был одурманен Фёдор, да припомнился ему случай, о котором долго соседи судачили. Притащил как-то из леса мужик дровишки, сложил в поленницу. Жена всё допытывалась – где взял. Уж слишком много, всю поленницу забил, долго пилил, умаялся. А он и говорит: «Да с выворотня, что на поляне большой, у реки. Не брал никто его, все мимо проходят. А чего такому дереву хорошему пропадать?» Жена чуть не взвыла, умоляла, чтоб унёс деревяшки обратно да подношение оставил на поляне. Говорит, вот тебе сливки, пирог – отнеси всё обратно, извинись перед лешим. А тот ни в какую – глупости это всё, просто дерево. А что не брал никто – так большое слишком, ещё попробуй распили его да доволоки. А он вот справился. Запретила жена топить теми дровами, да только муж ослушался, баню затеял. Не пустила баба детей, сказала, ничего, грязными посидим, в речке помоемся, а в баню с тобой не пойдём. Опасно это, тёмное дерево, нечистое. Но только смеялся мужик, подшучивал.

Ушёл в баню, а жена всё молилась да плакала. Выйти из дома боялась, детям настрого запретила выбегать за порог. В окно поглядывала. И увидела, как открылась дверь бани, да свет не свечной засиял, не желтоватый, тёплый. А голубоватый, ледяной, как вода стылая по зиме. Вышел из дома муж её да пошёл вперед, будто кто потащил его на привязи. Без исподнего, босиком, как был. Кинулась было жена к двери, да вспомнила о детях. Коль оба погибнут – кто заботиться будет о них? Бросилась снова к иконам, а мужа больше и не увидела – ушёл в лес, там и сгинул. Подсказала потом одна бабка сведущая, что стал небось лешему слугой, забрал тот его к себе за то, что порушил мужик его имущество. А в бане осталась лужица зеленоватая, мхом покрытая. Сколь ту лужу не вытирали, мох тот не обрывали, так снова она сквозь доски пробивалась, а мох прорастал. Снесли ту баню, сжечь по-хорошему надо было бы место такое нечистое, огонь-то всё освятит. Да побоялись – перекинется пламя на дом, а где один дом загорелся, там и всему селу полыхать. Помогли вдовице баню разобрать, только досель на том месте мох так и растёт. Считал Фёдор сказ этот побасёнкой, ну ушёл мужик под хмельком после баньки в лес, там небось волки али медведи подрали. А теперь, как сам на поляне у выворотня оказался, так и поверил. Нечистые это места, хоть с лешими, хоть без них. Не может трава вот так светиться сама. Вышел Ефим вперёд, встал у самого выворотня, наклонился к корням. Фёдора остановило парой шагов дальше – встал как вкопанный, ни рукой пошевелить, ни ногой. И видно ему было лишь, как блеснул в зеленоватом мареве тонкий нож, выпростал Ефим руку и провёл по коже. Закапало в траву и на мох алый у самых корней. Поставил колдун кувшин высокий, что-то зашептал, запричитал.

Замолчал и прислушался. Потом повернулся к Фёдору и сказал:

– Раздевайся и выворачивай наизнанку одежду. Обувку меняй местами, левое на правое.

Почувствовал тут Фёдор и руки, и ноги. Снова пальцы его слушались, тело стояло твёрдо на земле. Думал было побежать через лес обратно, да вот только куда? Что впереди, что позади – тёмная стена леса. И не просто крошечная тьма, а будто живая, шевелится что-то в той тьме, ходит рядышком, по самому краю поляны, не попадая в освещённое гнилушками пространство. Точно не человек там бродит, не зверь даже. Многоногое что-то, многоглазое. Наблюдает сквозь ветки, как оценивает. Чей будешь? Зачем пришёл?

Уловив мысли парня, Ефим пробурчал:

– Даже не думай бежать. Не добежишь.

Фёдор кивнул, снял рубаху и штаны, надел всё, как сказано. Пробралась ночная сырость под ткань, холодила кожу. Зябко повёл плечами Фёдор, но тут же застыл, прислушался.

Прислушивался и Ефим, ждал чего-то, наблюдал внимательно за тёмной утробой леса, за зеленоватым свечением поляны. А Фёдор наблюдал за Ефимом.

И проворонил, быстро то было, глаз человеческий не поймает – появился на поляне высокий мужик. Только моргнул Фёдор – раз и вот он. Как показалось, выше сосен, да сморгнул ещё разок – тот и пониже стал, но всё равно: не видел Фёдор таких мужиков статных – Ефима на голову выше, а тот ох не маленький. Широкий в плечах, сажень косая. Будто богатырь явился былинный, а не царь лесной.

Кафтан на нём был пушистый, да только не из меха пошит – мшистый, на вид мягкий. Опушён папоротником и хвощами, воротник знатный. Не пуговицы на кафтане – шишки еловые, не шапка на мужике – волосы зелёные в косицы причудливые свиты, вплетены в пряди листья папоротниковые, стебли податливые. И борода, что мурава придорожная, курчава.

Заговорил мужик, разнёсся голос его в гулком влажном воздухе. Мигом перестало и бродить что-то за сосновой оградой, птицы умолкли, комары ночные в воздухе застыли, песню свою тонкую приглушили. Голос был его низкий, словно деревяшки в нём сухие перестукивались, дерево вековое под ветром стонало протяжно.

– Привёл?

– Как обещал, – ответил Ефим.

– Долго ты. Я редко о чём-то тебя прошу, всё сплошь ты просишь. Мог бы и постараться уж.

Ефим и глазом не моргнул, только отступил на шаг.

Леший подошёл к Фёдору, протянул руку:

– Отдавай мне.

И тут понял Фёдор, что до сих пор сжимает в руке куколку восковую. И припомнил, что нельзя ничего лешему давать (как бы ни был далёк парень от бабских рассказов, а докумекал, кто перед ним стоит).

Слышал он и не раз, что коль встретишь в лесу царя лесного, так ничего ему не давай, хоть тот и просить будет. Помнится, сказывала соседка одна матери его, как отправился муж в город, а надо было по пути в лесу переночевать. Тот, как и принято, и разрешения на постой у лешака попросил, и пирогов ему у пня оставил – учёный путник был, бабка-знахарка одна подсказала. А как стала дрёма подкрадываться, явился леший к нему. Вроде смотришь – мужик как мужик, да только что простому мужику в лесу ночью делать? Да и говорил тот странно – с посвистом, будто птица какая подчирикивала. «Дай, – говорит, – водицы хлебнуть, знаю, есть у тебя». И на котомку его посматривает. Сосед отнекивается, говорит: «Попил всё, сам без воды сижу. Разве что до реки идти, да то уже посветлу. Ходил вокруг него мужичок, посвистывал, посвистывал, да ударился о землю, зайцем обернулся и убежал прочь. Боле не сомкнул глаз сосед до утра, а как дорогу разглядеть можно было, так припустил лошадей прочь. Теперь лес тот десятой дорогой объезжает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.